

СОКРОВЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

Спросите: кто сегодня самый современный писатель?

Отвечу: Андрей Платонов.

Не потому лишь, что с появлением «Чевенгура», он по сути полностью распечатан и вошел в перечни, где сенсации перемешаны с художественными ценностями. И далее не потому, что наконец его произведения пробили глухое и злостное сопротивление литературных и всяких прочих аппаратчиков, чтобы явиться во всей своей подлинности, дерзостной независимости и силе.

Произведений, во всех отношениях достойных, тоже опубликовано немало — от В. Гроссмана до Ю. Домбровского.

Думаю, печатание «сокровенного» Платонова по своему смыслу явление куда большее, чем текущие литературные заботы — будь то организация кооперативных издательств или открытие долгожданных журналов, тоже ведь назначенных публиковать хорошее новое и достойное старое, поддерживать таланты, давать выход разным мнениям и художественным вкусам.

Платонов велик тем, что он понимал то и так, как следовало бы писать сегодня, будь у нас дарования, равные его дару. Будь аналитическая мысль сегодняшней прозы так же сильна, как его мысль.

Но и в таком случае это было б возвращением на полвека в прошлое, а не провидение будущего, куда более протяженного.

Велика наша литература, если кто-нибудь сегодня написал завтрашнее произведение, которое станет необходимым и понятным через полвека.

Надеюсь, что будут написаны или пишутся и такие.

Платонов же и сейчас понят не вполне. Мы только с некоторым смущением передаем в руки читателей то, что раскопали в хорошо пожженных архивах.

Он — писатель будущего.

Возвращение забытого и утаенного наследства.

Стирание белых пятен.

Недавно еще эти слова произносились с восторгом — от них словно исходила озонная свежесть.

Теперь это расхожие формулы, теряющие половину своего содержания.

Мы и в прежние времена возвращали столько, что освоить толком не могли — возьмите для примера «Библиотеку поэта», «Памятники мировой литературы».

Разве мало?

Но это было как бы и в порядке вещей — неспешная академическая работа, так сказать, методическое освоение наследства, которое предполагало, что и крупницы тайного станут явными, — куцые однотомнички М. Волошина или Н. Клюева, М. Булгаков со своими поденными фельетонами, написанными для заработка, тот же А. Платонов с добавлением ранних рассказов, которые он скорей всего и не собирался перепечатывать.

Сколько лукавства, сколько циничного умысла можно вложить в это понятие — «возвращение забытого».

Теперь мы ощутили его качество и количество. Как много оказалось забытого и утаенного! На нас валится целый Монблан.

Утаенного сознательно, забытого не случайно, а чтобы свергнуть нас в беспамятство, чтобы и скроенная по трафарету, размноженная в сотнях миллионов экземпляров «секретарская» литература оказалась дефицитом.

А «белые пятна» — это не пятна на буренке, не грязные потоки тающего весной снега, а целый материк, целая Антарктида. Не «крокодильская» брошюра М. Булгакова, не «огоньковский» Н. Гумилев или Н. Клюев.

То, что недавно еще преподносилось как «возвращение» и «стирание», на самом деле нечто другое — куда более широкое, могучее и глубинное действие нравственного и духовного содержания.

Не замечая этого, мы претерпевали жить на истощенной почве культуры. На ее песках и солончаках. Хотя нас и окружали прекрасные классические библиотеки, милый самиздат, не такие уж и редкие завозные книги. Все-таки кое-что — даже довольно многое — мы узнали.

Но это было сухое, как мертвые деревья, знание. Оно не могло прорасти, стать жизнью, зашуметь листвою. Применять его было просто опасно.

Как быстро мы все-таки забываем, сколько было ловцов нежелательных имен, упоминаний, цитат. Они и сейчас ходят среди нас с нахмуренными лицами. Оттого что имена и цитаты способны напомнить их собственные преступления против культуры.

Так и разделялись: истощенная почва культуры, рождающая миражи, — отдельно, знание о ее потаенных сокровищах, достижениях и возможностях — отдельно.

В этом разделении — трагедия духовного истощения, продолжавшегося по крайней мере полвека. Особого рода беспамятства, которое само себя принуждало к забвению. Потому что сами знание и память могли быть сочтены за опасное социальное действие с риском трагического исхода.

Все и всегда ли к нему готовы?

Не каждый даже смелый человек способен ежедневно рвать рубашку на груди. Кажется мне, что настоящая отвага — не акт отчаяния. Она органична тогда, когда есть хотя бы иллюзорная надежда на победу.

Уверен, что такой отвагой обладал Платонов.

Впрочем, и ему приходилось изживать иллюзии: «Жизнь есть упускаемая и упущенная возможность». Можно ли сказать горше?

Но приведу еще несколько заметок из его записных книжек.

«...Смысл жизни не может быть большим или маленьким — он непременно сочетается с вселенским и всемирным процессом и изменяет его в свою сторону, — вот это изменение и есть смысл жизни».

Все-таки возможность остается. Для писателя же, может быть, редкостная и особенная — изменение всемирного процесса «в свою сторону».

«Писать надо не талантом, а «человечностью» — прямым чувством жизни».

«Все возможно — и удастся все, но главное — сеять души в людях».

И, наконец, запись тех лет, когда писались «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море» — произведения «сокровенного» Платонова, которого нас принуждали забыть или просто не знать: «И новые силы, новые кадры могут погибнуть, не дождавшись еще социализма, но их «кусочки», их горе, их поток чувства войдут в мир будущего. Прелестные молодые лица большевиков — вы еще не победите, победят ваши младенцы. Революция раскатится дальше вас! Привет верующим и умирающим в перенапряжении!»

В тридцать пять лет прощание со своей жизнью и приветствие грядущему племени, которое дальше.

Нелегка была вера Платонова, жертвенна. Хоть, впрочем, оказалась глубже и надежнее показного ликования.

Она оправдала его формулу творчества: «Труд есть совесть».

«Чевенгур» (1929), как и всякое значительное произведение, не может быть объят каким-нибудь одним определением. Трудно даже сказать, о чем оно: о гражданской войне, о строительстве социализма, о нэпе, об идеалах или о их извращении, о людях, в своей жизни праведных и добрых или заблуждающихся и жестоких? Вообще — это фантазмагория, сон, как предлагает считать безымянный автор врезки к роману в «Дружбе народов», или преображенная реальность? То есть в своей жизненной основе вещь подлинная? Как писал Ф. М. Достоевский, реализм «в высшем смысле», где фантастический элемент приводит к существу вопроса, а не отвлекает к абстракциям?

На последний вопрос можно ответить сразу: в 1919 году молодой журналист Платонов был командирован в Новохоперск, только что освобожденный от белых. Его поразила военная хитрость учителя Нехворайко, обувшего лошадей в лапти, чтобы пройти по неприступному болоту. Внезапность решила исход схватки — белые были выбиты из занимаемого хутора.

Точно так же начинается роман «Чевенгур»¹ — с рассказа о приезде его главного героя Александра Дванова в Новохоперск и о подвиге Нехворайко. Даже фамилия его не изменена.

Платонов уважал «факт». Это слово он употреблял часто в самых разных контекстах. Но основной его смысл — тепло, плоть, вещество жизни. Он его не только глубоко чувствовал, но и умел выразить в слове, найти для слова тот вес, который делал это вещество осязаемым.

Но факт для него — и преображенная реальность, реальность идеи: «У нас с ней не любовь, а так — один факт. Пролетариат ведь тоже родился не от любви, а от факта». Тут факт переведен в сферу мысленных связей, тоже важных для Платонова.

Другой немаловажный аспект: роман по времени охватывает конец гражданской войны, эпоху военного коммунизма и начало нэпа. Его временные рамки точно определены.

Время — кратчайшее. Но оно включает столько событий, внешних и внутренних, в которых до сих пор не может разобраться одна из великих литератур — русская. Эти несколько лет задали задачу на весь оставшийся XX век. Не только нам, но и всему миру.

Разномыслие тут неизбежно. Не только между теми, кто воевал друг с другом, но и среди идущих в одном направлении. Потому что это было творчество становления, где так или иначе означена цель, но не изведаны пути к ней.

Все герои «Чевенгура» в дороге. И на каждом шагу их поджидает неизвестное, невиданное, немислимое, странное, никогда не бывшее. Их мысль, столкнувшись с этими явлениями, тоже приобретает подчас немислимые очертания. А действия непредсказуемы и противоречивы.

Одни и те же герои, проходя мимо еще тлеющих костров гражданской войны и оказавшись в «коммунизме» Чевенгура, думают по-разному.

Дванов в Ханских Двориках, воображающий «социализм малодворными артельными поселками с общими приусадебными наделами». Дванов, убеждающий, что «земля от культурных трав будет ярче и яснее видна с других планет». Выдающий ордер на вырубку леса, «чтобы отдать землю под пахоту». И Дванов в Чевенгуре, где не пашут и не сеют, а ждут, раз уничтожена буржуазия, естественного произрастания

¹Мы не касаемся здесь «Происхождения мастера», первой части романа, напечатанной в качестве отдельной повести еще в конце 1920-х годов.

коммунизма — без труда, без имущества, без материальных забот. Это по-разному думающие и чувствующие люди. Или люди, думающие в соответствии с обстоятельствами. Другим способом решающие все ту же задачу.

Идеи романа наслаиваются одна на другую.

Разные идеи, приходящие в голову одним и тем же людям.

Идеи разных людей, со своими странностями и фантазиями, входящие в соприкосновение друг с другом.

Почти все персонажи романа — герои победившей революции. Герои и в высоком смысле этого слова, и просто участники. Но все они идут к общей цели.

Яснее других ее формулирует донкихот революции, вооруженный ее страж на коне Пролетарская Сила — Копенкин. Он кричит «задумавшемуся» человеку: «Да что ты за гнида такая... закончи к лету социализм. Вынь меч коммунизма, раз у нас железная дисциплина». И еще: «Социализм придет моментально и все покроет. Еще ничего не успеет родиться, как хорошо настанет!»

Большинству героев поначалу свойствен утопизм мышления и чувства. Кончилась братоубийственная и жестокая гражданская война. Социализм, за который боролись, вот-вот должен показаться на горизонте. Наступить немедленно. А кругом запустение и разруха. «Когда власть-то брали, на завтрашний день всему земному шару обещали благо, а теперь ты говоришь, объективные условия нам ходу не дают...» — говорит Захар Петрович Дванову.

Иначе говоря, зачем воевали, лили кровь, жертвовали собой. Даешь социализм! А если его нет, завтра должен быть. «Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов!...» Благо, осталось еще в руках оружие. И не торопящихся в социализм и поторопить можно.

Только в какой социализм? Или в какой коммунизм?

События тех лет и в самом деле были невероятно уплотнены — быстро следовали друг за другом, одновременно происходили в разных местах. Воля, напор, сила, оружие, стихия были подняты для утверждения революции.

Революция — победила. По идее, на том же порыве должен был утвердиться и социализм. Он не только был целью, но казался близким, подвластным энергии людей, неизбежным и в то же время естественным, самозарождающимся: «Власть на местах изобрела нечаянно что-нибудь умное — вот и вышло, будь оно проклято!» Оттого так думалось, что вполне нормальным и привычным стало то ускорение событий, которое повсеместно шло от Октября и гражданской к военному коммунизму и дальше...

Платонов осознает эту идею как идею народную. Как социальное чувство, рожденное ходом событий. И потому они выливаются в некое действие общероссийского масштаба. В нем, по сути, нет зрителей, все — заинтересованные, все — участники, все — борцы.

Немедленный социализм строят как кто умеет, так, как его представляет — по митинговому призыву, понаслышке, по собственному разумению или ощущению.

За счет разграбления богатой помещичьей усадьбы.

Передачи домашней скотины имущих неимущим.

Уравнительного перераспределения материальных благ.

Бюрократического придумывания фиктивных должностей для «обслуживания самих себя».

За счет природы, наконец. Неисчерпаемые богатства природы завораживают чевенгурцев. Им кажется, что она может заменить эксплуатацию, производство, всякие другие экономические отношения — утвердить пролетариат в коммунистическом равенстве природопользования: «пролетариат не любит вид природы, а уничто-

жает ее посредством труда, — это буржуазия живет для природы: и размножается... Неизвестно одно — нужен ли труд при социализме или для пропитания достаточно одного природного самотека?» Размышляющий об этом Чепурный склоняется к мысли, «что солнечная система самостоятельно будет давать силу жизни коммунизму, лишь бы отсутствовал капитализм, всякая же работа и усердие изобретены эксплуататорами, чтобы сверх солнечных продуктов им оставалась ненормальная прибавка».

Отношения чевенгурцев с природой — важный аспект романа. В ней они видят силы полезные и вредные. Растения классово близкие и буржуазные. Но главное — ее потребительская ценность, способность отдавать безвозмездно, питать пролетариат без приложения труда.

В ней они видят один из главнейших источников коммунизма, который утвердился естественным путем. Природа сама дает ему все: и тепло, и свет, и пищу.

Если же, паче чаяния, не даст, есть альтернативный выход: все-таки уничтожить ее «посредством труда».

«Буржуазную» природу — бродячих куриц, телят, самосевом выросшие злаки и овощи — чевенгурцы уничтожили в полном классовом согласии.

Объяснение простое: чтобы «пролетариат в напрасное усердие не загнать».

«Нам даны ревнародом особые правомочия в пределах нашей революционной совести». В том числе над природой.

На это пришлый старик мудрено, однако не без ехидства, возражает: «Я говорю — власть дело неумелое, в нее надо самых ненужных людей сажать, а вы же все годные».

Он имеет в виду — годные к работе, а не к обдумыванию чужой жизни «вместо самого живого».

На мгновение глава чевенгурского коммунизма осознает ложность своего положения, что он «от должности умней всего пролетариата» — символ зарождающегося бюрократического аппарата. Безграничного — не по уму — единовластия.

И в самом деле, не было у коммунаров знаний, не было политического опыта. Но стихийно утверждалась идея неизбежности, необходимости, полновластия их решений — «ни в книгах, ни в сказках, нигде коммунизм не был записан понятной песней, которую можно было б вспомнить для утешения в опасный час; Карл Маркс глядел со стен, как чужой Саваоф, и его страшные книги не могли довести человека до успокаивающего воображения коммунизма; московские и губернские плакаты изображали гидру контрреволюции и поезда с ситцем и сукном, едущие в кооперативные деревни, но нигде не было той трогательной картины будущего, ради которого следует отрубить голову гидре и везти груженные поезда. Чепурный должен был опираться только на свое воодушевленное сердце и его трудной силой добывать будущее, вышибая души из затихших тел буржуев и обнимая пешехода-кузнеца на дороге».

Чувство коммунизма не имело материальной формы. Он казался неопределенным раем, где упразднены «буржуазные» ценности и нет изнуряющего труда: «Ни питание, ни одежда, ни душевное счастье — ничто не размножается, значит — людям теперь нужен не столько труд, сколько коммунизм».

Оттого и выливалось иногда это чувство в действия жестокие и бессмысленные, как расстрел бывшей буржуазии и «класса остаточной сволочи» в Чевенгуре.

Впрочем, была тут и своя логика. Коммунизм — общество бесклассовое. «Когда пролетариат живет себе один, то коммунизм у него сам выходит».

Движущей пружиной тут опять же было победоносное чувство власти и всеислия, позволяющее разгонять и торопить события. Напролом идти в неясное царство будущего — коммунизм. Как говорит Копенкин: «Мое дело — устранять враждебные силы. Когда все устраню — тогда оно само получится, что надо».

Герои Платонова безоговорочно делят жизнь на прошедшую и будущую. Прошедшего просто нет — «долгое время истории кончилось»; будущее начинается сегодня. Начинается с нуля — «бедность и горе размножились настолько, что, кроме них, ничего не осталось», — с классового чувства, с нетерпения.

Один лишь лесной надзиратель ищет «советскому времени подобия в прошлом, чтобы узнать дальнейшую мучительную судьбу революции». Он читает забытую книгу, автор которой утверждает, «что только второстепенные люди делают медленную пользу. Слишком большой ум совершенно ни к чему — он как трава на жирных почвах, которая валится до созревания и не поддается покосу. Ускорение жизни высшими людьми утомляет ее, и она теряет то, что имела раньше».

Но эта оглядка на прошлое, на постепенную жизнь не вызывает ни малейшего сочувствия у героев.

Даже самородок Дванов, человек всегда занятый своими сокровенными, не всем понятными и доступными мыслями, втайне вынашивает совершенно иную теорию. Он думает, что прошлое бесплодно. Что культура умертвляет жизнь. Что устройство жизни на нетронутой почве куда более заманчиво и интересно.

«Он в душе любил неведение больше культуры: невежество — чистое поле, где еще может вырасти растение всякого знания, но культура — уже заросшее поле, где слои почвы взяты растениями и где ничего больше не вырастет. Поэтому Дванов был доволен, что в России революция выволола частично те редкие места зарослей, где была культура, а народ как был, так и остался чистым полем — не нивой, а порожним плодородным местом. И Дванов не спешил ничего сеять: он полагал, что хорошая почва не выдержит долго и разродится произвольно чем-нибудь небывшим и драгоценным...»

Поэтому и ведет Платонов своего героя по России, делая свидетелем самых невероятных социальных опытов. Сталкивая с самыми странными людьми, фанатиками, прожектерами, чудаками, бандитами, кулаками, нарождающимися бюрократами. Теми, кто составляет эту оголенную почву, не тронутую культурой. Еще ничего не родившую, кроме насилия, но, кажется, готовую к неведомой, новой, ни на что не похожей жизни.

Внутренний монолог Дванова о культуре произнесен с такой глубокой вдумчивостью и страстью, что можно подумать, будто его смысл разделяет и сам писатель.

Но уже через несколько страниц Дванову приходится спорить с Копенкиным, который, как и все на свете идеи, руководствуясь своим классовым чувством, доводит мысль его до конца, то есть до абсурда.

«— Пишут всегда для страха и угнетения масс, — не разбираясь, сказал Копенкин. — Письменные знаки тоже выдуманы для усложнения жизни. Грамотный умом колдует, а неграмотный на него работает...»

— Чушь, товарищ Копенкин. Революция — это букварь для народа.

— Не заблуждай меня, товарищ Дванов. У нас же решается по большинству, а почти все неграмотные, и выйдет когда-нибудь, что неграмотные постановят отучить грамотных от букв — для всеобщего равенства... Тем больше, что отучить редких от грамоты сподручней, чем выучить всех сначала».

Копенкин и грамоту готов упразднить как буржуазный пережиток отмененного прошлого. Дванов ее терять не согласен. Он делает первую уступку культуре.

Получают они и другой урок от кузнеца — урок экономики, который тоже никак не согласуется с идеей немедленного и принудительного коммунизма.

«— Мудреное дело: землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете, да подались ты сам такой землей! Мужичку от земли один горизонт остался. Кого вы обманываете?»

Дванов объяснил, что разверстка идет в кровь революции и на питание ее будущих сил.

— ...Ты говоришь — хлеб для революции! Дурень ты, народ ведь умирает — кому же твоя революция останется?»

Диалог замечательный. Опять же и послереволюционная хозяйственная почва оказалась не вовсе голой. Выяснилось, должна сохраниться не только грамота, но и культура земледельческого труда. Создавая «азбуку революции», нельзя не считаться с теми, кто ее будет учить. Тут тоже новизна сталкивается с твердо устоявшимся законом: если народ умирает, то для кого революция?

Логика жизни подводит к отмене продразверстки, к нэпу — свободной торговле, товарообмену, кооперации. А следовательно, к созданию материальных благ, которым только и можно остановить разруху.

Коммунары же Чевенгура только и ждут, «прогресс покуда не кончится, а потом сразу откроется счастье в пустоте...». Наступит конец «всей всемирной истории».

«Чевенгур не собирает имущество, а уничтожает его...»

Отменены деньги. Почта отменена, потому что «пролетарии уже вплотную соединены».

«Событий нет — говорят это наука и история...»

«...Ум такое же имущество, как и дом, стало быть, он будет угнетать ненаучных и слабых...» Ум под подозрением.

«...Труд раз навсегда объявляется пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество — угнетению».

Коммунизм, как считают чевенгурцы, утвержден полностью.

Только вот все глуше становится. Все бесприютнее и безнадежнее: «Пролетарии и прочие... быстро доели пищевые остатки буржуазии...» Надвигается зима. Умирает оголодавший мальчик.

Даже Копенкина осеняет догадка: «Какой же это коммунизм?.. От него ребенок ни разу не мог вздохнуть, при нем человек явился и умер. Тут зараза, а не коммунизм».

Раз в Чевенгуре «от коммунизма умер самый маленький ребенок», значит, коммунизм «действует отдельно от людей. Где же тогда он помещается?»

Мать ребенка бросает страшное обвинение Чепурному: «Не мой ребенок тебе дорог, тебе твоя дума нужна!»

Коммунизм оказался выдуманным для идеи, а не для жизни ребенка, не для человека.

Вызванный Копенкиным в Чевенгур Дванов, чтобы снять план коммунизма для всеобщего распространения, тоже глубоко потрясен и опечален.

«...Революция миновала эти места, освободила поля под мирную тоску, а сама ушла неизвестно куда, словно скрывалась во внутренней темноте человека, утомившись на своих пройденных путях. В мире было — как вечером, и Дванов почувствовал, что и в нем наступает вечер, время зрелости, время счастья или сожаления... Александр Дванов не слишком глубоко любил себя, чтобы добиваться для своей личной жизни коммунизма, но он шел вперед со всеми, потому что все шли и страшно было остаться одному, он хотел быть с людьми, потому что у него не было отца и своего семейства. Чепурного же, наоборот, коммунизм мучил, как мучила отца Дванова тайна посмертной жизни, и Чепурный не вытерпел тайны времени и прекратил долготу истории срочным устройством коммунизма в Чевенгуре так же, как рыбак Дванов не вытерпел своей жизни и превратил ее в смерть, чтобы заранее испытать красоту того света... Дванов любил отца, Копенкина, Чепурного и многих прочих за то, что они все, подобно его отцу, погибли от нетерпения жизни, а он останется один среди чужих».

Это ключевые страницы романа. С них начинается переоценка ценностей.

Возвращение к человеку и его потребностям.

К полезным для людей ремеслам.

К труду и семейным заботам.

К полевой работе. Даже Пролетарская Сила стала пахать, «а Копенкин ходил за ней вслед».

Стали налаживать электричество и изобретать полезные машины.

Над просторами зазвучало «яблочко» и «большевицкий фокстрот».

Но мудрый Платонов не закончил свой роман этой идиллией.

Народ, он делал свое дело. А к нему прилаживался новый герой: «А я хочу прочих организовать. Я уже заметил: где организация, там всегда думает не более одного человека, а остальные живут порожняком и вслед одному первому. Организация — умнейшее дело: все себя знают, а никто себя не имеет. И всем хорошо, только одному первому плохо — он думает. При организации можно много лишнего от человека отнять».

К труженику пристраивался бюрократ, аппаратчик, учетчик, демагог. Теперь он начинал организовывать, командовать, учить, подбирать кадры. А в сущности, рвать самую большую долю не заработанного им пирога.

Александр Дванов, который на всех дорогах вспоминал отца, детство, озеро Мутёво, на дне которого отец пытался разгадать тайну смерти, «в чувстве стыда жизни» повторяет его путь.

Он держится за память предков и в душе не испытывает того нетерпения, с которым все переворачивается то так, то этак.

На этом можно было бы поставить точку. Но надо помнить, что роман написан в конце 1920-х годов, когда насильственно был прерван нэп и столь же крутыми методами проводилась коллективизация. В известном смысле возвращался тот же «коммунизм» с продразверсткой, уничтожением «капиталистических» классов, а потом и середняка для полного торжества бедноты во всех отношениях — социальном, материальном, моральном.

Две эпохи неожиданно начали совпадать, и потому платоновский их анализ имел не только смысл исторический, не только современный смысл, но и смысл прогностический. Уже была доказана тупиковость внеэкономических методов военного коммунизма. Уже было очевидно, что нельзя основывать коммунизм только на перераспределении существующего имущества, на уравниловке, без наращивания производства, на материальной незаинтересованности в труде.

В этом смысле, а это, думается, была его сверхзадача, «Чевенгур» — роман-предупреждение.

Он предсказывал новый взрыв утопических иллюзий. Иллюзий, опасных освобождением энергии насилия для возведения здания коммунизма. Разжигание «классовой борьбы», направленной не только против уже поверженных классов, но и грозящей самоистреблением. Ведь чевенгурцы расстреляли не один лишь «буржуазный» класс, серьезной угрозы не представлявший. Они расстреляли и всех служащих, то есть тех, кто имел свой кров, скарб и честно заработанный хлеб.

Платонов предупреждал против равенства в бедности, голого пролетарства. То есть такой ситуации, когда лучше не работать, потому что всякая работа рождает добавочный продукт, с точки зрения уравнительного коммунизма — уже капитализм. Связывает человека имуществом и лишает его классовой чистоты.

В этом предупреждении была и мысль о новых человеческих жертвах.

О разрушении экономических связей.

Об ожесточении сердец, ожесточении пусть даже невольном, но оттого не менее опасном.

О взрыве бумажной, пустопорожней, бюрократической деятельности, плодящей сотни тысяч инструкций, циркуляров, приказов.

О понижении общего интеллектуального уровня, все больше низводимого к однозначным решениям: приказу и исполнению, митинговым призывам и коллективному изображению энтузиазма, которые по сути уже теряли осмысленную цель.

О душевной маете лишаящихся родственных связей, духовных запросов и личной независимой мысли.

В «Чевенгуре» Платонов пытался защитить те ценности, которые были завоеваны в 1920-е годы и вновь были поставлены под угрозу на их исходе.

Оттого трагический финал романа.

Потому он не только о коммунизме, коллективизации, но и о нас с вами. Он — сегодняшний, потому что мы только сейчас начинаем без фальши и умолчаний анализировать опыт минувших лет и не можем не понимать, что Платонов был прав в своих прогнозах. И его правоту еще нужно защитить на будущее. Ведь то, что есть в «Чевенгуре», есть еще и в нашем быту, в экономических и политических отношениях.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что самым совершенным созданием «сокровенного» Платонова была повесть «Котлован» (1930). Поистине, повесть загадочная, ни на что не похожая, непостижимым образом отверстая в глубь, где и дна не видать. А чтобы доказать то, о чем сказано будто бы с косноязычной упрощенностью, никаких слов не хватит.

Много толкований еще вызовет эта глыба, это плотное «вещество» слова, такой реальный и такой фантастический мир, который поместил в свой «Котлован» Платонов. Хотя внешне, по языку, по способу изъяснения, по тому, как говорят и действуют его герои, как и многие страницы «Чевенгура», повесть сродни примитиву, лубочной картинке, хитровато-замысловатой притче, где скрытая мудрость обставлена наивным простодушием, словесной несообразностью, непредсказуемым поведением героев в обстоятельствах сколь знакомых, столь и невероятных.

Кажется, что события, происходящие в повести, односложны и элементарны. Артель роет котлован под фундамент, на котором будет построено «то единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата, — и тот общий дом возвысится над всем усадебным, дворовым городом, а малые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет разгульный мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени». Задача пока простая — рыть. Но в своем замысле — грандиозная и необычная.

Творится самая черная работа. Изнурительная, выматывающая силы до последнего вздоха, до предела усталости. Рухнув, люди спят вповалку на полу, «как мертвые», «без всякого излишка жизни», так что «во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человека». Наскоро приняв «в себя пищу как должное, но не наслаждаясь ею», они вновь заступают на работу, чтобы раскапывать глину, долбить камень бессрочно, до полного изнеможения: «До вечера долго... чего жизни зря пропадать, лучше сделаем вещь. Мы ведь не животные, мы можем жить ради энтузиазма».

Это — непосредственный, реальный ход работ. Он выписан с брейгелевской жесткостью. С физиологической осязаемостью труда и усилий, казалось бы, доводящих до необратимого отупения. Но над этой грязной работой, над этим мускульным надрывом витает трудноизъяснимая дальняя мысль, образ идеального результата или следствия: Козлов «работал, не помня времени и места, спуская остатки своей теплой силы в камень, который он рассекал, — камень нагревался, а Козлов постепенно холодел, и разрушенный камень был бы его бедным наследством будущим растущим людям». Даже мертвый камень словно теплеет и одушевляется.

Котлован усилиями труда углубляется, тревожа косное вещество: «Может, природа нам что-нибудь покажет внизу». А над ним в чертежах инженера Прушевского, в новых планах, в воображении надстраивается идеальный «общепролетарский дом», «общепролетарская жилплощадь», куда через год «весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города». А «через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли». Иными словами, это дом будущего, всемирный, всечеловеческий. Дом-мечта, дом-символ.

Он и реален, потому что уже роют котлован, и фантастичен, потому что в грезах возносится до вселенских вершин. Большинство не надеется дожить, чтоб поселиться в нем: «Пусть сейчас жизнь уходит, как течение дыханья, но зато посредством устройства дома ее можно организовать впрок — для будущего неподвижного счастья и детства».

Мысленно труженики «Котлована» заселяют его будущими счастливыми людьми. Теми, что народятся, вырастут, сменяя таких, как Жачев — «устаревший пред-рассудок», искалеченных войной, — исчерпавших силы своей жизни в непосильном труде и борьбе. Им все кажется, «что масштаб дома узок, ибо социалистические женщины будут исполнены свежести и полнокровия и вся поверхность земли покроется семенящим детством; неужели же детям придется жить снаружи, среди неорганизованной природы?»

Другое дело, которым заняты герои повести, — классовая борьба «против деревенских пней капитализма», потому что «бедняцкий слой деревни печально заскучал по колхозу». И на почве сплошной коллективизации — ликвидация кулаков «не меньше как класса, чтобы весь пролетариат и батрачье сословие осиротели от врагов!»

Это действие тоже разворачивается в двух планах. Вполне реальном и условно-фантастическом. Реальна гибель активистов Сафронова и Козлова. Раскулачивание. Мас-совое истребление скота, чтобы «спрятать плоть родной убоины в свое тело и сберечь ее там от обобществления». Саботаж: «в ожидании колхоза безубыточные мужики содержали лошадей без пищи, чтобы обобществиться лишь одним своим телом, а животных не вести за собой в скорбь».

Но реально и человеческое горе тех, кто расстается с нажитым в трудах имуществом, реальны их слезы и отчаяние. И тем они очевиднее, что происходят на фоне трагических и парадно обставленных событий, как «похоронное шествие, чтобы все почувствовали торжественность смерти во время развивающегося светлого обобществления имущества». Так что «одни плакали во время бодрости». Другие, стоя «между капитализмом и коммунизмом», просили дозволить «горе горевать остатнюю ночь, а уж тогда мы век... будем радоваться!» Кто впадал «в мелкое настроение сомнения». Кто «целовал молодые деревья в своем саду и с корнем сокрушал их вон из почвы».

Не была добровольной и безболезненной «сплошная» коллективизация, когда в стремительном темпе начали «целыми эшелонами население в социализм отправлять». Написал об этом Платонов с болью и состраданием. Но одновременно с похолодевшим сердцем думал он о последствиях, о складывающейся системе подавления и командования «слепыми массами». Не только котлован под будущее «общепролетарское жилище» видел он. Платонов постигал смысл не «какой-нибудь мертвой части», а «всего целого». И мысли стали даже тревожнее, чем в «Чевенгуре».

Конфликты в «Котловане» самые подлинные. Они обострены до предела, на грани жизни и смерти. Убивают активистов. Убивают их действительных или мнимых убийц. Сочится из подворотен кровь зарезанных животных. Стоит над деревней бабий стон и плач. Поп, остриженный под фокстрот, для подачи активу составляет «листки с обозначением человека, осенившего себя рукодействующим крестом». И

сам объясняет свою судьбу: «Мне, товарищ, жить бесполезно... я не чувствую больше прелести творения — я остался без Бога, а Бог без человека...»

И вместе с тем эта темная, утробная, вывороченная наизнанку жизнь оборачивается фантастикой, опять сродни картинам Брейгеля и Босха.

Один из убийц Сафронова и Козлова «заметил свою скорбь от организованного движения на него и сам пришел сюда, лег на стол между покойниками и лично умер».

Упорствующие в своем нежелании обобществиться мужики живыми заваливаются в заранее приготовленные гробы, чтобы остановить дыхание и умереть.

Сознательными элементами «для ликвидации классов организуется плот, чтобы завтрашний день кулацкий сектор ехал по реке в море и далее...».

Фантастична фигура «самого угнетенного батрака», который в кузне «трудится молотобойцем», превратившегося в натурального седого медведя: «Жил с людьми, вот и поседел от горя». Он со звериным инстинктом наводит организаторов коллективизации на кулаков и мироедов: «Ты сознательный молодец, — говорит один из героев, — ты чуешь классы, как животное». Он и вправду чует тех, кто всю жизнь его мучил, заставлял голодать, издевался. И его судьба вписана в общую картину как страдание неимущего.

Сплавив весь кулацкий класс вниз по реке, оставшийся колхоз пускается в неудержимый пляс. «Колхозные мужики были светлы лицом, как вымытые, им стало теперь ничего не жалко, безвестно и прохладно в душевной пустоте... Постепенно мужики рассопелись и начали охаживать друг друга, а бабы весело подняли руки и пошли двигать ногами под юбками».

Но это не просто пляс. Это — действие, рождающее новый смысл бытия, и фантастическое, и символическое одновременно: «пассивные мужики кричали возгласы довольства, более передовые всесторонне развивали дальнейший темп праздника, и даже обобществленные лошади, услышав гул человеческого счастья, пришли поодиночке на Оргдвор, стали ржать». Животные, кажется, больше всех радуются обобществлению.

Трагедия идет об руку с новым началом, новым ритмом жизни. Даже когда прекратилась музыка, продолжается пляска: «...Умерли они, что ли, от радости, пляшут и пляшут».

На следующий день этот неостановимый темп задан труду. Его начал «правильный пролетарский старик» медведь-молотобоец, готовя «шины на колеса для колхозной езды». «Члены колхоза сожгли весь уголь в кузне, истратили все наличное железо на полезные изделия, починили всякий мертвый инвентарь...»

Здесь закипела такая же яростная работа, как и в котловане, на пределе напряжения сил, до обморочного утомления.

Жизнь — и в котловане для строящегося «общепролетарского жилища», и в колхозе, где остались только «очищенные от кулачества массы», — решительно сдвинулась с места, получила огромное ускорение, вся повернулась грудью к неведомому и непостижимому будущему.

Платонов видит и знает это как факт. Он весь внутри этого переломного момента. Но из настоящего и конкретного он стремится заглянуть в будущее и всеобщее. Увидев «линию», он глубоко задумывается над качеством перемен в каждом отдельном лице и жизни в целом.

«Котлован» начинается словами, сразу вводящими не столько в действие, сколько в философию повести: «В день тридцатилетия личной жизни Воцеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В удивительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследс-

твие *роста слабосильности* в нем и *задумчивости среди общего темпа труда*» (курсив мой. — А. У.).

«Рост слабосильности» Вощеву явно приписан. Он молод — ему исполнилось тридцать лет. И земляные работы в котловане, которые он выполняет исправно, уж наверняка во много раз тяжелее, чем на небольшом механическом заводе. Ясно, главная и единственная причина увольнения — что он «думал среди производства». И думал не о производстве только, а «о плане жизни».

Казалось бы, что же тут худого? Но из него стремились выбить эти мысли. Не его это дело — думать о целом.

«Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?» — возражают ему.

Но Вощев так не может. Он должен видеть значение действия, его цель и смысл. Понимать истину: «он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог больше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться».

Он не способен действовать без эмоционального побуждения, без душевного согласия. Иначе действие человека будет похоже на действие всякого мертвого механизма.

Вощев не из тех правдоискателей, кто ищет истину только для себя, смысл личного существования. Он простирается дальше отдельного человека: «обездоленный, Вощев согласен был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека, — и чтобы находиться вблизи того человека, мог пожертвовать на труд все свое слабое тело, истомленное мыслью и бессмысленностью».

Он был бы очень счастлив знать, что другие владеют истиной.

«Сокровенный человек» Вощев, неузнанный и непонятый, проходит через всю повесть. Вокруг него строится ее философия. Его размышления в каждой новой быстро меняющейся ситуации, его назойливые вопросы об истине и смысле побуждают применять к событиям некую другую меру, сверх той, которой они сами себя оправдывают — энергией труда, энтузиазмом, работой на износ, борьбой без прощенья и пощады.

Неизвестно, что происходило на «небольшом механическом заводе» до начала. В пространстве самой повести Вощев попадает в водоворот главных и грандиозных событий. К людям, которые действуют для большой пользы, то есть правильно. Действуют безоглядно и уже не рассуждая, потому что истина лежит вне их, задана как «линия» и «направление», внедрена как вера, чуждая сомнений и не нуждающаяся в доказательствах. Истина — как приказ сверху, укрепляющий внутренний приказ и дисциплину подчинения — каждый «гражданин обязан нести данную ему директиву».

Беспрекословное подчинение порождает стиль столь же непререкаемого командования «массами». «Массы» и призваны через труд материализовать уже каким-то образом принявшую мифологический характер истину, чтобы она стала вещественной и потому абсолютно неопровержимой, — «мы слышим лишь линию, щупать нечего».

Вощев не сомневается в убежденности этих людей. В искренности их намерений и стремлений. В идеале он разделяет их. Но то, какими средствами осуществляется истина, ее непосредственное становление повергают его в смущение и раздумье: «Хотя они владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели измождение. Вощев со скупостью надежды, со страхом утраты наблюдал этих грустно существующих людей, способных без торжества хранить в себе истину...»

Слишком механичен их энтузиазм. Слишком безрадостно обладание истиной, которая должна ощущаться не иначе как радость, торжество, счастье, душевное равновесие и гармония.

Соизмеряя дальний план и копошение в котловане, Вощев трезво понимает, как призрачна мечта, которая кажется такой сбыточной и близкой: «Еще долго надо иметь жизнь, чтобы превозмочь забвеньем и трудом этот залегший мир, спрятавший в своей темноте истину существования. Может быть, легче выдумать смысл жизни в слове — ведь можно нечаянно догадаться о нем или коснуться его печально текущим чувством».

Эта последняя мысль разделяет старое и новое понимание истины, правдоискательство как «смысл жизни в голове» и правдоискательство как поступок, работа, действие, создающие и внедряющие истину в жизнь.

Именно на этом переломе «сокровенный» человек Вощев и деятельный Сафронов словно дополняют друг друга. Каждый по-своему прав, и каждому не хватает правоты своего оппонента.

Вощев, «ослабев терпеньем» и почувствовав, что «все равно весь свет не разроешь до дна», не прочь остановиться. «Лучше я буду думать без работы», — решает он. Вощев готов довольствоваться истиной ума.

Сафронову такая истина не интересна. В ней нет «памяти вещества». Он говорит Вощеву: «Ты... станешь думать сам себя, как животное». Иными словами, бездейственно, не внося истину в окружающий мир, не проверяя ее трудом.

И тут, надо отдать ему должное, Вощев соглашается с Сафроновым и принимает как материальную «память вещества» «истину для производительности труда».

Но он не отказывается от истины внутренней, истины ума, понимания, истины целого. Истины как блага. Как радости и счастья, то есть захватывающей всего человека. Ограниченность Сафронова в том, что он угрюмый человек, выдавливающий «свое тело» «для общего здания». Он убежден: «пролетариат живет для энтузиазма труда» — и только. Этот энтузиазм утилитарен и потому безрадостен: «Грусть — это значит — наш класс весь мир чувствует, а счастье все равно далеко... От счастья только стыд начнется!»

Он по своей психологии исполнитель. И потому истина лежит как бы вне его. Он ее «проводит» в жизнь, но не чувствует. Увидев служащих, присланных в помощь, Сафронов меньше всего думает о них. Они такое же средство, как и всякий другой механизм: «Нам это ничего... Мы ихнюю отсталость сразу в активность вышибем». Люди — масса, которая должна быть приспособлена «к задаче»: «Я этих пастухов и писцов враз в рабочий класс обращаю, они у меня так копать начнут, что у них весь смертный элемент выйдет на лицо... Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план?»

Сафронов и сам образец механического человека, человека функционально организованного. Он всегда и всюду соответствует моменту. Идет «руководящей походкой», «свободомыслящей походкой». Делает «интеллигентную походку и задумчивое лицо». «Прошел убежденной походкой и сделал мыслящее лицо». Когда надо, прививает «обязанность радости», «аннулирует скорбь». Ну и, само собой, всегда заботится, чтоб в тебе был «энтузиазм труда».

Но просто исполнительность еще не самое худшее качество. Исполнительность часто порождает рвение «угодить наверняка и забежать вперед главной линии». Переходит в некоторый суррогат личного «творчества», из которого уже начисто выпадают интересы и жизни других людей, исчезает чувство реальности.

Не названный по имени «активист», проявив все формы «перегибщины, забегаловщины, переусердщины», самыми жестокими методами проведя «сплошную»

коллективизацию, готов с ускорением идти уже совсем неведомо куда: «Организатор местного коллектива спрашивает вышенаходящуюся организацию: есть ли что после колхоза и коммунизма более светлое, дабы немедленно двинуть туда бедняцко-средняцкие массы, неудержимо рвущиеся в даль истории, на вершину всемирных невидимых времен. Этот товарищ просит прислать ему примерный устав такой организации, а заодно и бланки, ручку с пером и два литра чернил».

Он легко переступает через кровь, слезы, жертвы. Ему важно «двинуть массы» дальше. Каким способом, не имеет значения.

Тут уже не остается и тени той истины, которую стремится найти Вощев. Теряются реальные контуры даже того дела, которое активист исполняет.

«Говорили, что все на свете знаете, — сказал Вощев, — а сами только землю роете и спите! Лучше я от вас уйду — буду ходить по колхозам побираться: все равно мне без истины жить трудно». А Сафронов в это время думает: «Не есть ли истина лишь классовый враг? Ведь он теперь даже в форме сна и воображенья может предстать!»

Истину он уже подменил слепой верой. Желание определить и обосновать истину он готов принять за вылазку классового врага.

Когда требуется только энтузиазм, поиски истины «не функциональны». А следовательно, вредны и подозрительны. Отсюда, в сущности, и «приговор» ей.

Главное отличие Вощева, что он думает как бы с другого конца — не от возведения дома, а от душевного обустройства человека: «Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки?.. Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет?»

Когда строители в своей трудовой ярости дошли до изнеможения, он кричит им: «Пора пошабашить! А то уморитесь, умрете, и кто тогда будет людьми?»

О том же задумывается и инженер Прушевский: «Каждое ли производство жизненного материала даст добавочным продуктом душу в человеке?» Создатель рабочего чертежа, он уверен: «Дом должен быть населен людьми, а люди исполнены той излишней теплоты жизни, которая названа однажды душой», служить «не только для пользы, но и для радости».

В этом все дело, вся разница между механическими людьми, исполнителями, организаторами слепого энтузиазма — и «сокровенным человеком», сердцем прикившим к истине, ощущающим ее как внутренний двигатель, как добро и благо, душевное тепло и участие.

Инженер Прушевский мучается тем, что не может «предчувствовать устройства души поселенцев общего дома». Ведь если это не чувствовать, дом не принесет счастья. Дом — жилище не только для тела, но и для души.

А тут все индивидуально.

Вощев и активисту задает все тот же назойливый вопрос:

«— А истина полагается пролетариату?»

— Пролетариату полагается движение, — произнес активист, — а что навстречу попадется, то все его: будь там истина, будь кулацкая награбленная кофта — все пойдут в организованный котел, ты ничего не узнаешь».

Против «организованного котла», в котором ничего не различишь, и восстает истина «сокровенного человека»: «Его основное чувство жизни стремилось к чему-то надлежащему на свете, и тайная надежда мысли обещала спасение от безвестности всеобщего существования». Вощев не приемлет «безвестности», ему «все кажется, что вдалеке есть что-то особенное». Особенное не только для него, Вощева, но и для каждого жившего на свете: «безымянные люди, от которых остались только лапти и оловянные серьги, не должны вечно тосковать в земле». И если кто-то растворился, пропал в безвестности, это — беда и несчастье, которые должны быть исправлены и отмщены:

«Он собирал по деревне все нищие, отвергнутые предметы, всю мелочь безвестности и всякое беспамятство — для социалистического отмщения. Эта истершаяся терпеливая ветхость некогда касалась батрацкой, кровной плоти, в этих вещах запечатлена навеки тягость согбенной жизни, истраченной без сознательного смысла и погибшей без славы где-нибудь под соломенной рожью земли. Воцев, не полностью соображая, со скупостью скопил в мешок вещественные остатки потерянных людей, живущих, подобно ему, без истины и которые скончались ранее победного конца. Сейчас он предъявлял тех ликвидированных тружеников к лицу власти будущего, чтобы посредством организации вечного смысла людей добиться отмщения — за тех, кто тихо лежит в земной глубине».

Почти «воскрешение» по заветам Н. Федорова, создателя «философии общего дела».

Эта «странность» Воцева — трогательна и человечна.

Потребность вырвать страдающего человека из безвестности, делать добро, опекать «пролетарское младенчество и чистое сиротство» подспудно живет и в самозабвенных строителях «общепролетарского жилища». Живет не только как идея, но и как чувство. Жачев, жестокий ко всяким отклонениям от пролетарского энтузиазма, призывает любить «что-нибудь маленькое и живое».

Они подбирают сиротку Настю. Кормят и укрывают ее. Она для них «фактический житель социализма», «будущий радостный предмет».

С появлением Насти рытье котлована как бы обретает конкретный сиюминутный смысл. Они воочию видят первого жителя строящегося дома. Символ будущего спускается на землю и поселяется в сиротское тело Насти. Но все-таки остается символом. Они забыли о хрупкости детства и не уберегли Настю. Не учили, что «воздух большой», а она «маленькая» и легко «застынуть в таком чужом мире, потому что земля состоит не для зябнущего детства». Не почувствовали, «насколько окружающий мир должен быть нежен и тих, чтобы она была жива!». «Никто не пришел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации».

Способ действия оказался несоизмеримым с человеком, ради которого все совершилось. Насте не хватило простой заботы, нежности, ухода. Умерла маленькая Настя, и потускнела дальняя идея. Что в ней, если угасла жизнь, которая должна была утвердить идею.

«Воцев стоял в недоумении над этим утихшим ребенком, он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении? Зачем теперь ему нужен смысл жизни и истина, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движением?»

Воцев согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в смутном вожделении тщетного ума, лишь бы девочка была целой, готовой на жизнь, хотя бы и замучилась с течением времени».

Вспомним слезинку ребенка у Достоевского.

В раздумчивой и трагической повести Платонова есть предупреждающий жест. Активист, о котором уже шла речь, «лишь снаружи от себя старался организовать счастье». В то время как оно не снаружи, а внутри каждого человека. И у каждого свое. Прежде чем «организовать» его, необходимо сообразоваться с этим чувством счастья. К нему нельзя вести насильно.

Символична смерть активиста.

Его никто не пожалел, потому что говорил он «всегда точно и правильно, вполне по завету, только сам был... поганый».

Воцев же разгадал его суть. Активист, в отличие от исполнителя Сафронова, действовал «с таким хищным значением», потому что был уверен: «вся всемирная ис-

тина, весь смысл жизни помещались только в нем и более нигде, а уж Вошеву ничего не досталось, кроме мученья ума, кроме бессознательности в несущемся потоке существования и покорности слепого элемента».

И Вошев говорит страшные слова: «Ты, должно быть, не меня, а весь класс испил, сухая душа, а мы бродим, как тихая гуща, и не знаем ничего!»

Активист не просто исполнитель инструкций. В конце концов, инструкция лишь форма и помимо которой может своим чередом идти жизнь. Активист этот — «сухая душа», натуральный вурдалак, обескровливающий всех, кто не соответствует его абстрактным представлениям об обязательном счастье. У него нет ни малейшей жалости к людям, потому что все они в его глазах на одно лицо — «слепая масса», которую надо двигать и двигать.

Между тем «слепая масса», колхоз, очищенный от кулацкого элемента, сделавший все возможные работы, просит о самом простом и естественном: «Как же, товарищи активы, нам дальше-то жить?.. Вы горюйте об нас, а то нам терпежа нет! Инвентарь у нас исправный, семена чистые, дело теперь зимнее — нам чувствовать нечего».

Люди хотят заботы. Они хотят чувствовать. И им чувствовать нечего!

Философия приводит Платонова, как и его героев, к естественным чувствам, к тем, с которых начинается жизнь и счастье: «Коммунизм — это детское дело, за то я и Настю любил...» — говорит свое последнее слово Жачев. Не Настю как символ будущего. А как малого ребенка, обездоленную сироту, хрупкий сосуд жизни. Ребенка, исторгнутого из неизвестности, чтобы он получил свою долю нежности, любви и заботы.

Повесть Платонова написана почти шестьдесят лет тому назад. Напечатанная недавно, она кажется и написанной сегодня, настолько современен весь ее состав — от социально-философских идей, оттенка теперь уже отдаленного прошлого, которое было для Платонова сиюминутностью, до ее неповторимой стилистики.

Более того, можно согласиться с А. Битовым, «что он писатель в огромной степени — *будущего*. Платонов тут окажется удивительно непростым писателем, потому что он первый, кто действительно все понял. Все понял, и понял *изнутри*, а не от противоположного лагеря: изнутри он постиг, и постиг глубже тех, кто стоял на позициях, так сказать, культурных, интеллигентских и прошлых. Потому что он постиг не отличия, а *целое*».

Что же такое повесть Платонова? Если вдуматься в рассуждения семерых участников круглого стола в «Литературной газете», посвященного «Ювенильному морю» и «Котловану», можно вывести и семь, если не больше, определений — от социологического исследования (один из участников обнаружил у Платонова даже идею семейного подряда) до сатиры и «не литературы» вовсе, то есть создания иного происхождения и назначения, чем литература.

Конечно, никакая это не сатира. Хотя порою Платонов саркастичен и беспощаден. Он, без сомнения, был оригинальнейшим мыслителем. Исследование его социально-философских идей во всем объеме — дело будущего. Сейчас можно утверждать, что они отличались глубиной и универсальностью. Он мыслил об устройстве целого, о «клане» жизни, в котором присутствовали и космические идеи.

Смело, остро, правдиво — говорят о повестях и романах, появившихся в последние годы.

Определения будто и верные, только вполне ли отражают они суть?

Сегодня стремятся выдвинуться в смельчаки и те, кто вчера еще держался безликой статистически средней.

Если в живом теле повернуть тупым ножом, ощущение тоже будет острым.

О правде кто-то сказал, что она может быть лишь одна — центральная.

Но ведь и то факт, что многие вчера придерживались одной правды, сегодня примкнули к другой.

Правда существует не только как мера, но и как процесс. Потому что есть еще постижение правды, ее углубление и утверждение.

Так что же, относительно все это?

Уверен, произнося эти слова, кто бездумно, кто с восторгом, кто с опаской, говорим мы совсем о другом. Говорим о главном, еще не умея формулировать это главное.

Когда Андрей Платонов писал повесть «Ювенильное море (Море юности)» (1934), едва ли он думал об остроте или смелости. Что касается правды, то и она совершенно иного порядка — сатирическая, фантастическая.

Стилистика Платонова действительно обладает остротой редчайшей. То гармоническое, я бы сказал — распевное соединение в одной фразе пафоса и иронии, слова витийственного и канцелярита, глубочайшей серьезности и усмешки создает текст разительной, яростной проникновенности. Герои ее будто еще учатся говорить, обладая, однако, абсолютным — невыразимым в слове — знанием о мире.

Смелость Платонова не в язвительных выпадах, не в сдвигах понятий или речевых форм. Не шутки он шутит.

«День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза. Он воображал себя паровозным машинистом, летчиком воздухофлота, геологом-разведчиком, исследующим впервые безвестную землю, и всяким другим организованным профессиональным существом — лишь бы занять голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца.

Он управился, уже на ходу, открыть первую причину землетрясений, вулканов и векового переустройства земного шара... Такое размышление пешеход почел не чем иным, как началом собственной космогонии, и нашел в том собственное удовлетворение» — так начинает Платонов «Ювенильное море» и знакомство читателя с его главным героем Николаем Эдуардовичем Вермо, «инженером-электриком сильных токов», а также музыкантом «по классу народных инструментов», «слесарем, часовым механиком, шофером и еще кое-чем».

Перед нами универсальный человек, «заряженный природным талантом и политехническим образованием», страстью познания и действия. И неоглядный мир, мир пластически податливый, с неограниченными возможностями, энергией и неисчислимыми тайнами.

Потому, убежден Вермо, можно создать свою «космогонию». Населить жизнь новыми существами: «Он надеялся, что эволюция животного, остановившаяся в прежних временах, при социализме возобновится вновь и все бедные, обросшие шерстью существа, живущие ныне в мутном разуме, достигнут судьбы сознательной жизни». Совсем в духе В. Хлебникова и раннего Н. Заболоцкого. Освободить из темноты земли «навечно погребенные воды», что «собрались в каменных могилах в неприкосновенном, девственном виде», — вывести на поверхность «ювенильное море» для орошения полей и произрастания трав.

Вся подлинная литература занята мыслью о месте человека в мире. Вопрос не новый. Ново или по крайней мере непривычно то, как он ставится и решается в прозе, опубликованной в последние годы. Можно сказать и еще более понятными и привычными словами: каковы ее герои.

Вот тут-то и открывается, что о герое той литературы, которая уже существовала, мы знаем очень мало. Или, даже зная, отмахивались от его странностей, нестандартности, неуживчивости, да мало ли еще чего. От его незапланированных мыслей.

«Вермо в тот час играл, как он думал, сонату о будущем мире: в виду выдуманных им звуков ходили по благородной земле гиганты молока и масла — живые существа, но с некоторыми металлическими частями тела, дабы лучше было уберечь их от болезней и обеспечить постоянство продуктивности; например, пасть была стальная, кишечник оперирован почти начисто (против заболеваний от разложения кала), а молочные железы должны иметь электромагнитное усовершенствование».

Разве согласимся мы теперь, разуверенные издержками технического прогресса, с этой металлизированной жизнью? Да и что это на самом деле? Мрачная техническая антиутопия? Наивная вера в прогресс? Просто ерничество?

И не разумнее ли, не мудрее ли, не устойчивее ли в своем убеждении Умрищев, «отрицательный» персонаж, вечный «оппортунист», постоянный противник активных героев Платонова:

«— Ступай и не суйся, — ответил директор. — Чем страна сама себя пережила: она не совалась!.. Ступай, а то мне тоже вскоре надо поехать кой-куда: окоротить сующихся...

...Он и пеньку любил, и шерсть, и пшено, и быт мещерских и мордовских племен в моршанском крае, и черное дерево в речных глубинах, и томленье старинных девушек перед свадьбой, — все это полностью озадачивало и волновало душу Умрищева; он стремился постигнуть тайну и скуку исторического времени, все более доказывая самому себе, что вековые страсти-страдания происходят оттого, что люди ведут себя малолетним образом и всюду неустанно суются, нарушая размеры спокойствия».

Это то, что мы теперь назвали бы исторической памятью, традицией, почвой, корнями.

Но куда клонит сам Платонов? Какую точку отсчета выбирает он?

К концу повести, близкий к осуществлению своих планов, Вермо заглядывает дальше и выше: «Я ручаюсь, что не каждый еще сумеет умереть из нас, как наступит высший момент нашей эпохи: нам тогда потребуется лишь построить оптический приемник-трансформатор света в ток, как мы сейчас строим радиоприемники, и через него к нам полетит бесконечная электрическая энергия — из солнечного пространства, из лунного света, из мерцания звезд и из глаз человека...»

Энергия вселенной сольется с энергией людей.

Но и почву он не оставляет в ее скудости и неподвижности. Здесь он тоже намерен освободить скрытые силы, «прожигать землю вольтовой дугой», чтобы добраться «до таинственных девственных морей» и вывести их на поверхность «для утоления жажды трав и коров».

Многозначность мысли, многозначность образа, многозначность жизни увлекала Платонова в самые рискованные — не хочется говорить эксперименты — исследования, погружения в социальную психологию, изобретения утопических моделей возможного будущего.

Один из главных вопросов повести — вопрос человеческого поведения в природной среде и социальной сфере. Впрочем, по сути, для Платонова это одно и то же. Социальная жизнь человека слита у него с действием в природной среде, энергия общественного переустройства с овладением энергиями всей жизни, земной и космической. В сущности, все предприятия его героев похожи на некое действие в открытом мировом пространстве.

На вопрос, сохранять нерушимыми «размеры спокойствия» или «соваться», ответ Платонова однозначен: «соваться»!

«Научная старушка» Федератовна говорит: «Я ведь все кругом вижу, я во все здесь суюсь, я всем здесь мешаю!..» Она не может не видеть, как воруют совхозных коров, растаскивают добро, жульничают, лодырничают, саботируют. Она — социальная ста-

рушка. Ее «научность» проявляется в социальной сфере потому прежде всего, что у нее большой житейский опыт, чутье, цепкий глаз. Она вершит «классовое» переустройство общества. Разъезжая на своей таратайке, освобождает полезную энергию масс, приучая жить по-большевистски, то есть «по совести».

Но действие повести происходит «в жестоком и яростном мире». Поэтому поступки ее героев решительны и беспощадны. «Всех жалеть не нужно... многих нужно убить», — говорит Федератовна. Смерть ходит об руку с жизнью. И она так же естественна, как и жизнь. «Мясного гения» убивают, чтобы питаться, хотя у животных «лица», может быть, даже прекраснее, чем у людей.

Люди жертвенно отказываются от себя, чтобы приблизить будущее. Они заражены будущим и уже как бы переступили грань этой жизни.

Нетерпение Вермо происходит из иного источника, нежели у Федератовны: «жизнь скучна, и люди не могут побороть своего ничтожного безумия, чтобы создать будущее время».

Сама природа жаждет действия человека: «Жара и скука лежали на этой арало-каспийской степи: даже коровы, вышедшие кормиться, стояли в отчаянии среди такого тоскливого действия природы, и неизвестный бред совершался в их уме. Вермо, мгновенно превращавший внешние факты в свое внутреннее чувство, подумал, что мир надо изменять как можно скорее, потому что и животные уже сходят с ума».

Между тем «высовываться» далеко не безопасно. Высунулась Айна, чтобы сообщить, как воруют коров, была истерзана кнутом и оказалась в петле. Вообще удобнее, чтобы каждый «молчал постоянно, делал по раз запущенному порядку свое узкое, мирное дело и ни во что не совался».

Федератовна признала, что в совхозе ежедневно пропадает ведер тысячу молока. Пришлось самому секретарю разбираться в этом неприятном деле: «А если б она не совалась, то и до тебя бы дело не дошло и спроса такого не стояло», — по-своему резонно замечает демагог Умрищев. Если факт не обнаружен, его нет. И можно жить спокойно.

Умрищев не только охранитель постоянных «размеров спокойствия». Он их расширяет усыпляющими директивными указаниями: «Выйдя в пекарню, он опробовал хлеб и сказал ближним подчиненным: «Печь более вкусный хлеб». Все согласились». Столь же категоричны и другие его указания: «Серьезно продумать все формы и недостатки», «Усилить трудовую дисциплину». А когда его спутник бросается вырывать былинку, будто бы мешающую прохожим, Умрищев останавливает: «Ты сразу в дело не суйся — ты сначала запиши его, а потом изучи».

Платонов прекрасно разглядел директивную бюрократиаду, опутывающую своими сетями всех «высовывающихся». Высовываться становилось все рискованнее. Но он верил в здоровье здорового человека. В самоочищение общества. В естественный порыв все делать лучшим образом — «по совести». Босталоева, пройдя по всему кругу бессмысленных учреждений, попадает к сочувствующему человеку: «Зачем ты шаталась по всему нашему бюрократизму, кустарная дурочка! Ты бы шла ко мне сразу». И такие люди всегда находятся. Они неожиданны, как сама жизнь. Вдруг возникают, как подземные воды. Как энергия света далеких звезд.

Любимые герои Платонова, какой бы витиеватой линией ни были они очерчены, удивительно похожи друг на друга. Хочется о них сказать старыми избитыми словами — это собирательный, коллективный герой. И Вермо, и Босталоева, и Высоковский, и Ке-маль — все они единомышленники, соратники, энтузиасты, отказавшиеся от себя ради того, что они задумали и делают. Как Федератовна, у которой в минуту эгоистического колебания «сознание враз» справлялось «с ничтожным чувством личности». Всех их отличает внутренняя чистота, простодушие, добросердечие. На добро

они мгновенно отзываются добром. На любовь — любовью, но особенной, в какой-то другой реальности осуществляющейся. Вермо — «человек, у которого сердце всегда живет под напором скопившейся любви... храня себя для высшей доли».

Их воодушевляет и объединяет вера поистине в фантастические — с точки зрения здравого смысла, большей частью абсурдные — проекты, которые они создают один за другим, точно воздушные замки в предутреннем небе.

С мудрой усмешкой Платонов придает им и лирический, и символический смысл. Соотнесенные с действительностью 1920-х — начала 1930-х годов, они уже в сжатом временном отрезке повести осуществляются или близки к осуществлению.

Это — оптимистическая концепция повести, демонстрация веры в возможности человека и общества, приведенных в состояние предельной активности. «Мир его воображения похож на действительность, и горе жизни ничтожно», — пишет Платонов о Вермо. Действительность пластически подчиняется воображению. Мыслимое становится реальным. Утопическое — жизненным.

Повесть Платонова лишь через полвека пришла к читателю. Многие из того, что казалось фантастикой, осуществилось. Часто осуществилось иначе и нередко куда в более значительных масштабах. Но и испытания оказались непредвиденными, прежде всего для человека, для самой его сути, человека творческого, нравственного, освободившего свою энергию ради дела.

Многое и осталось: «Он увидел по возвращении незнакомый мир секретов, секретариатов, групп ответственных исполнителей, единоначалия и сдельщины — тогда как, уезжая, он видел мир отделов, подотделов, широкой коллегиальности, мир совещаний, планирования безвестных времен на тридцать лет вперед, мир натопленных канцелярских коридоров и учреждений такого глубокого и всестороннего продумывания, что для их решения требуется вечность...» Бесплезные отделы и подотделы, бесплезные люди и мертвые души тоже плодились с непредвиденным восторгом. Не ослабла сила сатирического удара повести.

Не исчерпаны также духовные и нравственные силы платоновского человека, который «высовывается», как бы ни старались его задвинуть и укоротить инструкциями, памятками, директивами. Замуровать лабиринтом чиновничьих столов и учрежденческих коридоров. Человека, который хочет жить «беспрерывным творчеством изобретений», работать «по совести».

Как художник Платонов был конкретен, пластичен, изобретателен. Он вел уникальный словесный поиск, породивший неповторимый сплав речи обыденной, газетной, лозунговой, плакатной, бюрократического канцелярита, агитационного штампа, той неорганизованной словесной стихии, которая ворвалась в язык вместе с ломкой прежних общественных отношений, с новыми жизненными реалиями, потребностями, целями, сплав с метафизическими понятиями, с коренными философскими, нравственными, психологическими проблемами, которые принято называть вечными.

За кажущейся кустарностью мышления его героев стоит бытийное содержание. К «корявым» их словам Платонов относится с глубочайшей серьезностью. Их первобытная, от труда и пота, мысль словно вывернула наизнанку все эти абстрактные идеи, чтобы наполнить их реальностью текущей жизни. А грубую, непредсказуемую, сдвинутую реальность он опрокинул в метафизические глубины постижения и самопознания. Дал ей мечту непреходящего, общечеловеческого и всевременного значения.

Если искать аналогий, мир произведений Платонова в этом смысле сродни поэтической утопии В. Хлебникова, «Столбцам» и «Торжеству земледелия» Н. Заболоцкого, философским построениям Н. Федорова и К. Циолковского, живописи П. Филонова и уже называвшихся Брейгеля и Босха. Притом что это мир абсолютно оригинальный, самостоятельный, ни на что не похожий.

Можно найти и отдаленных литературных предшественников — в Н. Лескове, А. Ремизове, Е. Замятине. И, конечно, отделить его от культурных традиций можно только условно, чтобы подчеркнуть особую жизненность его произведений, одухотворенность в новом, непривычном понимании этого слова. Конечно же, проза Платонова — это литература в изначально русском, национальном понимании слова, круто замешенная на правдоискательстве, на философии жизненного действия, направленного на дальние цели, бесстрашная, совестливая и исполненная надежд, как та музыка, которую слышит в начале повести Воцев: «Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не заплакать перед смертью от тоски тщетности».